

Лев, Евгений Замятин

Все началось с происшествия совершенно фантастического: именно – великолепный царь зверей, лев, оказался вдребезги пьяным. Он спотыкался на все четыре лапы и валился на бок, это была совершенная катастрофа.

Лев обучался в Ленинградском университете и одновременно служил балетным статистом в театре. В сегодняшнем спектакле, одетый в львиную шкуру, он должен был стоять на скале и ждать, когда его сразит брошенная героиней балета копьё: тогда убитый лев падал со скалы на тюфяк за кулисы. На репетициях все шло превосходно – и вдруг сегодня, в день премьеры, за полчаса до подъема занавеса – лев подложил такую свинью! Запасных статистов не было. Отменить спектакль было нельзя: на спектакле будет приехавший из Москвы нарком. В кабинете у «красного директора» театра шло SOS-ное заседание.

В дверь постучали, и в кабинет вошел театральный пожарный Петя Жеребьякин. «Красный директор» (он сейчас на самом деле был красный – от злости) накинулся на него:

– Ну, что, что надо? Некогда! К черту!

– Я, товарищ директор... я – насчет льва, – сказал пожарный.

– Ну, что насчет льва?

– Как, значит, наш лев пьяный, то я желаю, товарищ директор, льва сыграть...

Не знаю, бывают ли у медведей веснушки и голубые глаза. Если бывают, то громадный, в чугунных сапожищах, Жеребьякин гораздо больше походил на медведя, чем на льва. Но вдруг чудом из него все-таки выйдет лев? Он божился, что выйдет, что он из-за кулис смотрел на все репетиции, что он, когда еще был солдатом, играл в «Царе Максимилиане». И в пику криво ухмыльнувшемуся режиссеру директор приказал Жеребьякину сейчас одеться и попробовать.

Через несколько минут музыканты на сцене уже играли под сурдинку «Марш льва». Лев Петя Жеребьякин выступал в львиной шкуре так, как будто он родился не в рязанском селе, а в Ливийской пустыне. Но в последний момент, когда надо было падать со скалы, он глянул вниз – и запнулся.

– Падай же, черт... падай! – бешеным шепотом зашипел на него режиссер.

Лев послушно рухнул вниз. Он тяжело упал на спину и лежал, не мог встать. Неужели не встанет? Неужели в последний момент – опять катастрофа?

Его подняли. Он вылез из шкуры, он стоял бледный, держась за спину, и сконфуженно улыбался. Одного верхнего зуба у него не хватало, и от этого улыбка была какая-то жалостная и детская (впрочем, в медведях – всегда есть что-то детское, не правда ли?).

К счастью, ничего серьезного с ним, видимо, не случилось. Он попросил воды. Директор приказал принести ему стакан чая из своего кабинета. Когда он выпил чай, директор стал его торопить:

- Ну, товарищ, назвался львом - полезай в шкуру. Лезь, лезь, брат, скоро начнем!

Кто-то услужливо подскочил со шкурой, но лев не захотел в нее лезть: он твердо заявил, что ему непременно надо выйти из театра. Что это была за экстренная надобность - он отказался объяснить, он только сконфуженно улыбался. Директор вскипел. Он попробовал приказывать, попробовал напомнить, что Жеребякин - кандидат в партию, что он - ударник, но лев-ударник упрямо стоял на своем. Пришлось уступить - и, просияв щербатой улыбкой, Петя Жеребякин помчался куда-то из театра...

- Ну, куда, зачем его черт понес? - снова красный от злости спрашивал директор. - Какие такие у него секреты?

Красному директору никто не мог ответить: секрет был известен только Пете Жеребякину - и, разумеется, автору этого рассказа. И пока Петя Жеребякин бежит куда-то сквозь осенний петербургский дождь, мы можем переселиться на время в ту июньскую ночь, в которую родился его секрет.

Ночи в ту ночь не было: это был день, чутко задремавший на секунду, как задремывает в походе солдат, не переставая шагать и путаясь между явью и сном. В розовом стекле каналов дремлют опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург исчезает; вместо него - Ленинград, проснувшийся от ветра красный флаг над Зимним дворцом, у решетки Александровского сада - милиционер с винтовкой.

Милиционера тесно окружила кучка ночных трамвайных рабочих. Из-за плеч Пете Жеребякину видно только лицо милиционера - круглое, похожее на рязанское яблоко-ме-довку. Происходит что-то очень странное: милиционера хватают за руки, за плечи - и наконец один из рабочих, вытянув трубочкой губы, нежно чмокает его в щеку. Милиционер багровеет, яростно свистит в свой свисток, рабочие разбегаются. Петя Жеребякин остается один лицом к лицу с милиционером - и милиционер так же внезапно исчезает, как вспугнутый ветром зеркальный Петербург: перед Жеребякиным - девушка в милицейской фуражке и гимнастерке, первая милиционерка, поставленная революцией на Невском проспекте. Черные брови над переносицей у нее сердито сцепились, из глаз - искры.

- стыдно вам, товарищ, - только и сказала она Пете Жеребякину, но как сказала! Он растерялся, он забормотал виновато:

- Да это же, ей-богу, не я! Я просто домой шел...

- Эх ты... А еще рабочий! - посмотрела на него милиционерка, но как посмотрела!

Если бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк - и это было бы спасение. Но ему пришлось медленно уходить, чувствуя на спине насквозь прожигающий взгляд.

Назавтра – снова белая ночь, и снова товарищ Жеребьякин шел со своего дежурства в театре домой, и снова у решетки Александровского сада – милиционерка. Жеребьякин хотел проشمгнуть мимо, но заметил, что она смотрит на него – и сконфуженно, виновато поклонился. Она кивнула. На зеркально-черной стали ее винтовки отсвечивала заря, сталь казалась розовой. И перед этой розовой винтовкой Жеребьякин робел куда больше, чем перед всеми, которые стреляли в него пять лет на разных фронтах.

Он рискнул заговорить с милиционеркой только через неделю. Оказалось, что она тоже, как и Жеребьякин, из Рязанской губернии и еще помнит их рязанские яблоки-медовки. Ну, как же: и сладко, и горчит маленько. Таких здесь нету...

Каждый раз, возвращаясь домой, Жеребьякин останавливался у Александровского сада. Белые ночи совсем сошли с ума – и зеленое, розовое, медное небо не темнело ни на секунду. В саду обнявшиеся пары как днем искали тени, чтобы их не было видно.

В такую ночь неуклюже, по-медвежьи, Жеребьякин спросил милиционерку:

– А что, например, вам, милиционеркам, при исполнении обязанностей можно замуж? То есть не при исполнении, а вообще – как ваша служба вроде военная...

– А зачем – замуж? – опершись на винтовку, сказала Катя-милиционерка. – Мы теперь – как мужчины: хотим и так любим...

Винтовка у нее была розовая. Милиционерка подняла лицо к полыхавшему в лихорадке небу, потом поглядела куда-то мимо Жеребьякина – и договорила:

– Например, если бы такой человек, чтобы стихи сочинял... Или бы актер: чтоб вышел и ему бы весь театр захлопал...

Яблоко-медовка: и сладкое, и горькое. Петя Жеребьякин понял, что лучше ему уйти и не возвращаться сюда больше: его дело – кончено...

Нет, не кончено! Бывают еще чудеса на свете! И когда случилось невероятное это происшествие, что лев, божьим изволением, напился пьяным, – Петю Жеребьякина как осенило, он кинулся в кабинет к директору...

Впрочем, это все – уже позади: сейчас он сквозь осенний дождь мчался на улицу Глинки. Счастье еще, что это – рядом с театром, и счастье, что он застал милиционерку Катю дома. Это была теперь не милиционерка – это была просто Катя. Засучив рукава, она стирала в тазу белую кофточку. На носу, на лбу у ней проступали росинки – и никогда она не была милее, чем вот такая, домашняя.

Когда Жеребьякин положил перед ней контрамарку и сказал, что он сегодня играет в спектакле, – она не поверила. Потом – заинтересовалась. Потом почему-то сконфузилась и опустила засученные рукава. Потом посмотрела на него (но как посмотрела!) и сказала, что придет непременно.

Звонки в театре уже трещали в курилке, в коридорах, в фойе. Лысый нарком жмурился сквозь пенсне в ложе. На сцене, за закрытым еще занавесом

балерины оправляли юбочки тем самым жестом, каким, спускаясь в воду, лебеди чистят крылья. И за скалой возле льва Жеребьякина волновались режиссер и директор.

– Помни: ты ударник! Смотри – не подгадь! – в львиное ухо шептал директор.

Занавес пошел вверх – и за огненной чертой рампы перед львом раскрылся темный зал, доверху полный белыми пятнами лиц. Давно, когда он был еще Жеребьякиным, он вылезал из окопа, перед ним рвались снаряды, он вздрагивал, по деревенской привычке крестился – и все-таки бежал вперед. Сейчас ему показалось – он не может сделать ни шагу. Но режиссер толкнул его сзади, и он, с трудом ворочая свои, сразу ставшие чужими, руки и ноги, медленно полез на скалу.

На верху скалы лев поднял голову – и совсем близко от себя, в ложе второго яруса, увидел перевесившуюся через барьер милиционерку Катю: она смотрела прямо на него. Львиное сердце громко ударило раз, два! – и остановилось. Он весь дрожал: сейчас решалась его судьба, уже летело в него копьё. Раз! – ударило оно в бок. Теперь надо падать. А вдруг упадет опять не так – и все погубит? Ему стало так страшно, как никогда в жизни, – куда страшнее, чем когда он вылезал из окопа...

В зале уже заметили, что на сцене происходит что-то неладное: смертельно раненный лев стоял неподвижно на верху скалы и смотрел вниз. В первых рядах услышали, как режиссер страшным шепотом крикнул: «Падай же, черт, падай!» И затем все увидели нечто совершенно фантастическое: лев поднял правую лапу, быстро перекрестился – и камнем рухнул со скалы...

Секунда всеобщего оцепенения, потом в зале, как смертоносный снаряд, взорвался хохот. У милиционерки Кати от смеха текли слезы. Убитый лев, уткнув морду в лапы, плакал.

1935 год